



С. Н. БУЛГАКОВ

Ответ В. П. Соколову

Постараюсь с возможной краткостью ответить на основные пункты вашего письма.

1. Историческое значение войны балканских народностей с Турцией я вижу не только в том, что это есть освободительная война вообще, но и что в ней довершалось освобождение христианской Европы от власти ислама, который как начало государственного строительства оказался несовместимым с равноправием и свободным развитием христианских народностей. Поэтому в *основе* этой войны лежит столкновение христианства и ислама («креста и полумесяца») не непосредственно как вер, но как начал культуры и государственности. Поэтому все, что вы говорите относительно недопустимости религиозных насилий для утверждения веры, ко мне совершенно не относится. Вам надо было бы оспаривать совсем не эту мысль, но рассмотреть, имеет ли значение в этой борьбе особая природа ислама и христианства, в данном случае православия как исторических начал или нет. Никакого отношения ни к еврейским погромам, ни к миссионерам и т. д. вопрос этот не имеет.

2. Ваше собственное отношение к войне представляется мне до конца невыясненным. Если война есть безусловное зло, каким вы ее считаете, то как можно «благословить борющихся», хотя и «братским, а не евангельским (?) благословением»? Если бы вы стояли на толстовской точке зрения, такого рода затруднений не было бы, но вы заявляете себя сторонником «активного участия в борьбе со злом» и допускаете «насилие воспитательное, не разрушающее личности насилуемого» (хотя личность в действительности разрушается смертью не тела, но души: «Не бойтесь убивающих тело, но убивающих душу»¹). Очевидно, вы

признаете государство и право, охраняемое, как известно, организованной силой и притом вооруженною, — иначе она не достигает цели. Но с этой точки зрения существует ли принципиальная, не количественная, но качественная разница между государственным и военным насилием? Я ее не вижу. Разумеется, война есть зло и ужас, но и тюрьма есть зло и ужас: неужели же тюремщик непременно добродетельнее или любвеобильнее воина как тип, как профессия? Война есть наибольший ужас страданий и смерти, но есть ли она наибольший ужас в смысле *зла*, — об этом можно даже спорить*.

3. Кажется мне очень сомнительным ваше противопоставление «естественного» и религиозного, насколько они разобщаются и между собою даже противопоставляются. Категория естественного слишком широка и неопределенна. Естественная стихия есть именно тот материал, который должен не оставаться в своей непосредственности, но религиозно просветляться, в личной жизни каждого из нас и в человеческой истории. При этом просветлении есть свои ступени и возрасты, которым свойственно свое особое самочувствие, а следовательно, и нормы поведения. Евангелие есть семя, произрастающее в душе каждого, закваска, овладевающая тестом, но не сразу и не целиком.

В том-то и состоит близорукость Толстого в понимании Евангелия, что оно не есть одна мораль, совокупность правил и всяких *не*, — оно открывает новую жизнь, с которой становится несовместимо естественное прежде. Евангельские заветы имеют значение, прежде всего, указаний того, чем сопровождается, к чему приводит эта новая жизнь, и лишь потом заповедей или запретов. Неделание и непротивление, которое обычно считается самым простым исполнением Евангелия, по своему действительному смыслу есть самое трудное, как обнаружение высшего делания, высшего достижения. Полнота христианства есть мощь, а не дряблость, любовь, а не чувствительность, вера, а не доктрина и не маниловство, святость, а не мораль, смирение, а не трусость, духовная нищета, а не убожество, плач, а не слезливость и т. д. Самые ужасные пародии и подделки христианских

* Да и неправильно называть войну убийством в том смысле, в каком говорится об этом преступлении, запрещенном еще Моисеевым десятисловием²: воля к убийству определенного лица и преступный умысел, с нею связанный, совершенно отсутствуют в психологии войны. В первом случае убийство есть цель, во втором — только средство, которое должно быть всячески ограничиваемо; притом же на войне убивающий есть и убиваемый, по самому существу отношения.

добродетелей проистекают именно из их внутренней необоснованности: лжемонашество, лжесмирение, лжелюбовь, лжетерпение, оно же и непротивление. Христианская жизнь не есть одно правильное поведение или этическая корректность, проверяемая по моральной рецептуре, — она рождается вдохновением добра, она есть творчество духа, «художество» (по выражению аскетов). Разве же не есть как бы художественно-творческое вдохновение житие преп. Серафима, которому внешним положением суждено было стать мелким лавочником (а мораль требовала бы — не обмеривать, не обманывать)? или житие сына Петра Бернардоне³, или св. Алексия, человека Божия⁴, или блестящего ритора Августина, или столичного адвоката — Иоанна Златоуста и т. п. Они, действительно, как бы становятся «по ту сторону добра и зла», свободны от морали. Но это же заставляет признать, что в религиозной жизни есть свои типы и возрасты, которым соответствует своя правда, вмещающая в себя лишь луч из света Вечной Книги, если это и не есть целостная правда Царствия Божия, но и эта правда (частичная «христианизация», как вы выражаетесь) не отделена от своего источника, хотя его и не вмещает. Вот пример. Первые христиане не хотели считаться с государственностью, в которой видели «зверя», ап. Павел провозгласил принципиальное признание государственности («власть от Бога»⁵) и государственного принуждения («начальник не без ума носит меч»⁶, признание податей) и тем фактически ввел христианство в русло истории, с ее неполной, условной, относительной правдой. Есть ли это отпадение от чистоты Евангелия, ему измена, или это есть признание того факта, что христианство обречено на историю, в которой ему суждена роль закваски? Строго говоря, между Нагорной Проповедью и 13 гл. Послания к Римлянам⁷ существует ведь очевидное различие; каков же смысл этого различия? Вводится ли здесь компромисс (как вы выражаетесь, проповедь меча со стороны «идеолога Евангелия») или это совсем иное? На той ступени развития, на которой находится теперешнее человечество, для него нормой борьбы со злом является не непротивление, но противление, теми средствами, которые оказываются возможны. И если выбирать между пассивностью и попустительством, которое не имеет ничего общего с евангельским непротивлением, или тем противлением, которое крайнее выражение получает в войне, то нужно предпочесть противление. На его стороне и религиозная правда. Мы можем и должны желать, чтобы человечество стало неспособно к войне, сделалось выше нее, но доктринальное отрицание войны по текстам Еван-

гелия* мне не кажется решением вопроса в его жизненной, конкретной сложности. Поскольку вы признаете правой цель войны, постольку оправдываете этически данную войну; этика же неразрывно связана с религией. И, думается, преп. Сергей знал, что делал, когда благословлял русскую рать в лице Дмитрия Донского на Куликовский бой⁹, конечно, не «братским, но евангельским благословением». Хотя он находился на той высоте святости, при которой евангельские добродетели являются «естественным состоянием», но он не применял этой мерки к русскому воинству, ибо знал, что для последнего противление выше непротивления, а война святее мира. Между первой, освободительной, балканской войной и второй, братоубийственной, лежит целая бездна, — это должен признать всякий; но на чем же должно опираться это различие? Если на этических критериях, то этики, независимой от религии, для религиозно мыслящего человека быть не должно. Значит, неизбежно приходится производить расценку, хотя и исторически относительную, но все же религиозную. *Tertium non datur*¹⁰.

4. Теперь о германском имманентизме. Эта часть вашего письма возбуждает во мне наибольшее удивление, и даже то, что появлялось на страницах этого журнала, служит здесь достаточным ответом на многое. По-видимому, вы решили, что упоминание о Дреусе имеет для меня значение решающего аргумента, и спешите уверить, что «направление немецкой религиозной мысли не так односторонне, как это представляется мне». Но ведь то, что мне пришлось высказать в очерке «Три идеи» в случайно подвернувшейся форме, в действительности представляет одно из основных и наиболее суммированных впечатлений, вынесенных мною из многолетнего и усердного изучения германской религиозной, философской и научной литературы. Возможно, что оно неправильно или неточно, но оно сложилось не от мимолетного впечатления, но после сосредоточенного и напряженного взглядывания в духовное лицо германизма. Я считаю, что германский гений должен неустрашимо войти в самоопределение современного духа, просто в силу своей исключительной роли в развитии новейшей культуры, и он,

* Между прочим, приводимые вами слова Спасителя сказаны Им апостолам, которые пытались защищать Его в Гефсиманском саду⁸, и распространительное их толкование не соответствует контексту и так же произвольно, как если бы кто-либо для противоположной цели стал цитировать слова Спасителя о «двух мечах»: «Продай одежду и купи меч» (Лк. 22, 35—38).

несомненно, запечатлен особым духовным помазанием, которое я и определяю как имманентизм (что отнюдь не одно с атеизмом). Немецкая мистика: автор «Das Büchlein vom vollkommenen Leben»¹¹, загадочный Экхарт¹² со своими учениками (Tauler, Seuse¹³), Себастиан Франк, Ангел Силезий, даже великий Я. Бёме¹⁴; немецкая философия: Кант и неокантианство, Фихте, Гегель, Гартман и его школа, даже Шеллинг; немецкое богословие: религиозно-историческая школа, ричлианство¹⁵, современные апостолы имманентизма Трельч и Герман¹⁶, монизм¹⁷ (в его религиозных ответвлениях); германское искусство: Гёте (даже несмотря на мистический эпилог 2-й части «Фауста») и Вагнер, творец пленительного Зигфрида; немецкая наука, хотя бы политическая экономия, — все это, в разных аспектах, обнаруживает один и тот же уклон. Но явственнее всего это обнаруживается в Реформации, которая хотя сама является духовным созданием германизма, но, по существу дела, породила новейшую культуру Германии, — ее хозяйство, ее науку, ее философию. Реформация есть торжество имманентизма в христианстве, она одновременно была и обмирщением христианства, и христианским этизированием культуры. В ней борются два начала, причем с началом имманентизма связан роковой антихристианский ее уклон (что вовсе не противоречит искренности протестантского благочестия). Таков *тип* германского гения, его нуменальный облик. И это я считаю в нем именно тем, что должно быть превзойдено, против чего надо быть всегда настороже, и это тем более, что, как я сказал, миновать германизм, хотя как школу, не может русская культура. Вы совершенно правы, конечно, что между славянством и германством существует разница культурных возрастов, и эта разница должна быть в полной мере усчитана при сравнении; верно, конечно, и то, что германские идеи оказали сильное влияние на учение славянофилов*, продолжают его оказывать и теперь, и неизбежно будут и должны его оказывать. Однако все это не уничтожает разницы духовных типов и, так сказать, их иерархии. Православно-славянская, т. е., главным образом, конечно, русская идея в своих заданиях идет выше и дальше имманентизма, как и православие, при всем своем теперешнем зраке раба, есть ду-

* Но, конечно, неверно в столь общей форме, что «религиозно-мистические движения зачинаются на Западе». Наше теперешнее религиозно-философское течение, каково бы оно ни было, зародилось совершенно независимо от западных влияний и в известной степени упредило аналогичные движения западные.

ховная сила иного порядка, чем протестантизм. Духовная борьба России с германством должна определить дальнейшие судьбы христианства, а в частности, и христианской культуры. Недаром вопрос о религиозном освящении культуры дает основное содержание русской религиозной мысли, начиная с Вл. Соловьева и Достоевского (последний, ослепленный враждой к католицизму, кстати сказать, далеко не оценивал всего значения германизма и его всемирно-исторической роли). Недаром даже Толстой, который в своем богословствовании был так близок к имманентизму, в своей философии культуры оказался столь непримиримым и не хотел принять культуры, на которой лежит печать «князя мира сего», и в этой непримиримости он обнаружил свою народную стихию гораздо глубже, нежели в грубом рационализме, сделавшем его отщепенцем от народа*.

5. Я не забываю ни на минуту, как далека русская, да и славянская действительность от своего идеала, определяемого объективно православием, которое в большей мере, чем другие вероисповедания, дает место чаяниям «грядущего града», субъективно — характером русской религиозности. Но как бы ни терзалась душа сомнениями, переходами от уныния к бодрости, от отчаяния к вере, не надо забывать, что никакая действительность не может оправдать (а разве только извинять) нашего уныния, малодушия и неверия. Мы *должны* верить, прежде всего, потому, что родина есть не только наша мать (или мачеха), но и наше творение, наше деяние, наше мужество, наша вера, наша воля. Разве предметы веры по природе своей могут и должны доказываться *more geometrico*¹⁸? Но в таком случае где же было бы место нашей свободе, любви, усилию, как не в борьбе с смертоносным духом апатии, испуга, разочарования? Разве из «фактов» почерпали свою веру в «святой остаток» Израиля¹⁹ его пророки, во времена всеобщего растления, на развалинах Иерусалима²⁰, в тоске изгнания? Но они не были и утопистами, построившими себе субъективные фантазии, ибо их вера в национальное призвание дана была им в их религиозном уповании и осмысливалась ими в связи со всеми впечатлениями мысли и жизни. И наша вера в Россию дана нам в религиозной вере, органически в нее включена.

Смерть наступает, когда останавливается сердце. И Россия, как искомое, как идеальная задача, может умереть только в нас и через нас, в сердцах наших. Не нужно самоослепления,

* Развитие этих мыслей см. в статьях моих в сборнике «Религия Л. Толстого». Изд. «Путь». Москва, 1911 г.

но должна быть мера и в самоуничижении. Россия имеет свое слово во вселенском христианстве, и слово это еще не сказано, но оно должно быть раньше выстрадано, пережито нами, русскими людьми, как боль, как тревога, как вопрос, ибо человеку всегда принадлежит первое слово в богочеловеческом процессе; Бог ждет от нас вопроса, чтобы дать Свой ответ. И никто другой не может за нас сделать нашего дела в истории. Познать и понять себя — такова великая задача, которую ставит пред Россией Сфинкс²¹ истории.

